**Паустовский Константин Георгиевич
«Стальное колечко»**

Дед Кузьма жил со своей внучкой Варюшей в деревушке Моховое, у самого леса.
Зима выдалась суровая, с сильным ветром и снегом. За всю зиму ни разу не потеплело и не закапала с тесовых крыш суетливая талая вода. Ночью в лесу выли продрогшие волки. Дед Кузьма говорил, что они воют от зависти к людям: волку тоже охота пожить в избе, почесаться и полежать у печки, отогреть заледенелую косматую шкуру.
Среди зимы у деда вышла махорка. Дед сильно кашлял, жаловался на слабое здоровье и говорил, что если бы затянуться разок-другой – ему бы сразу полегчало.

В воскресенье Варюша пошла за махоркой для деда в соседнее село Переборы. Мимо села проходила железная дорога. Варюша купила махорки, завязала ее в ситцевый мешочек и пошла на станцию посмотреть на поезда. В Переборах они останавливались редко. Почти всегда они проносились мимо с лязгом и грохотом.
На платформе сидели два бойца. Один был бородатый, с веселым серым глазом. Заревел паровоз. Было уже видно, как он, весь в пару, яростно рвется к станции из дальнего черного леса.

– Скорый! – сказал боец с бородой. – Смотри, девчонка, сдует тебя поездом. Улетишь под небеса.

Паровоз с размаху налетел на станцию. Снег завертелся и залепил глаза. Потом пошли перестукиваться, догонять друг друга колеса. Варюша схватилась за фонарный столб и закрыла глаза: как бы и вправду ее не подняло над землей и не утащило за поездом. Когда поезд пронесся, а снежная пыль еще вертелась в воздухе и садилась на землю, бородатый боец спросил Варюшу:

– Это что у тебя в мешочке? Не махорка?

– Махорка, – ответила Варюша.

– Может, продашь? Курить большая охота.

– Дед Кузьма не велит продавать, – строго ответила Варюша. – Это ему от кашля.

– Эх ты, – сказал боец, – цветок-лепесток в валенках! Больно серьезная!

– А ты так возьми сколько надо, – сказала Варюша и протянула бойцу мешочек. – Покури!

Боец отсыпал в карман шинели добрую горсть махорки, скрутил толстую цыгарку, закурил, взял Варюшу за подбородок и посмотрел, посмеиваясь, в се синие глаза.

– Эх ты, – повторил он, – анютины глазки с косичками! Чем же мне тебя отблагодарить? Разве вот этим?

Боец достал из кармана шинели маленькое стальное колечко, сдул с него крошки махорки и соли, потер о рукав шинели и надел Варюше на средний палец:

– Носи на здоровье! Этот перстенек совершенно чудесный. Гляди, как горит!

– А отчего он, дяденька, такой чудесный? – спросила, раскрасневшись, Варюша.

– А оттого, – ответил боец, – что ежели будешь носить его на среднем пальце, принесет он здоровье. И тебе и деду Кузьме. А наденешь его вот на этот, на безымянный, – боец потянул Варюшу за озябший, красный палец, – будет у тебя большущая радость. Или, к примеру, захочется тебе посмотреть белый свет со всеми его чудесами. Надень перстенек на указательный палец – непременно увидишь!

– Будто? – спросила Варюша.

– А ты ему верь, – прогудел другой боец из-под поднятого ворота шинели. – Он колдун. Слыхала такое слово?

– Слыхала.

– Ну то-то! – засмеялся боец. – Он старый сапер. Его даже мина не брала!

– Спасибо! – сказала Варюша и побежала к себе в Моховое.
Сорвался ветер, посыпался густой-прегустой снег. Варюша все трогала
колечко, повертывала его и смотрела, как оно блестит от зимнего света.
«Что ж боец позабыл мне сказать про мизинец? – подумала она. – Что будет тогда? Дай-ка я надену колечко на мизинец, попробую». Она надела колечко на мизинец. Он был худенький, колечко на нем не удержалось, упало в глубокий снег около тропинки и сразу нырнуло на самое снежное дно.

Варюша охнула и начала разгребать снег руками. Но колечка не было. Пальцы у Варюши посинели. Их так свело от мороза, что они уже не сгибались.
Варюша заплакала. Пропало колечко! Значит, не будет теперь здоровья деду Кузьме, и не будет у нее большущей радости, и не увидит она белый свет со всеми его чудесами. Варюша воткнула в снег, в том месте, где уронила колечко, старую еловую ветку н пошла домой. Она вытирала слезы варежкой, но они все равно набегали и замерзали, и от этого было колко и больно глазам.

Дед Кузьма обрадовался махорке, задымил всю избу, а про колечко сказал:
– Ты не горюй, дочурка! Где упало – там и валяется. Ты Сидора попроси. Он тебе сыщет.
Старый воробей Сидор спал на шестке, раздувшись, как шарик. Всю зиму Сидор жил в избе у Кузьмы самостоятельно, как хозяин. С характером своим он заставлял считаться не только Варюшу, но и самого деда. Кашу он склевывал прямо из мисок, а хлеб старался вырвать из рук и, когда его отгоняли, обижался, ершился и начинал драться и чирикать так сердито, что под стреху слетались соседские воробьи, прислушивались, а потом долго шумели, осуждая Сидора за его дурной нрав. Живет в избе, в тепле, в сытости, а все ему мало!

На другой день Варюша поймала Сидора, завернула в платок и понесла в лес. Из-под снега торчал только самый кончик еловой ветки. Варюша посадила на ветку Сидора и попросила:

– Ты поищи, поройся! Может, найдешь!

Но Сидор скосил глаз, недоверчиво посмотрел на снег и пропищал: «Ишь ты! Ишь ты! Нашла дурака!… Ишь ты, ишь ты!» – повторил Сидор, сорвался с ветки и полетел обратно в избу.

Так и не отыскалось колечко. Дед Кузьма кашлял все сильнее. К весне он залез на печку. Почти не спускался оттуда и все чаще просил попить. Варюша подавала ему в железном ковшике холодную воду.

Метели кружились над деревушкой, заносили избы. Сосны завязли в снегу, и Варюша уже не могла отыскать в лесу то место, где уронила колечко. Все чаще она, спрятавшись за печкой, тихонько плакала от жалости к деду и бранила себя.

– Дуреха! – шептала она. – Забаловалась, обронила перстенек. Вот тебе за это! Вот тебе!

Она била себя кулаком по темени, наказывала себя, а дед Кузьма спрашивал:

– С кем это ты там шумишь-то?

– С Сидором, – отвечала Варюша. – Такой стал неслух! Все норовится драться.

Однажды утром Варюша проснулась оттого, что Сидор прыгал по оконцу и стучал клювом в стекло. Варюша открыла глаза и зажмурилась. С крыши, перегоняя друг друга, падали длинные капли. Горячий свет бил в оконце. Орали галки.
Варюша выглянула на улицу. Теплый ветер дунул ей в глаза, растрепал волосы.

– Вот и весна! – сказала Варюша.

Блестели черные ветки, шуршал, сползая с крыш, мокрый снег и важно и весело шумел за околицей сырой лес. Весна шла по полям как молодая хозяйка. Стоило ей только посмотреть на овраг, как в нем тотчас начинал булькать и переливаться ручей. Весна шла и звон ручьев с каждым ее шагом становился громче и громче.
Снег в лесу потемнел. Сначала на нем выступила облетевшая за зиму коричневая хвоя. Потом появилось много сухих сучьев – их наломало бурей еще в декабре, – потом зажелтели прошлогодние палые листья, проступили проталины и на краю последних сугробов зацвели первые цветы мать-и-мачехи.
Варюша нашла в лесу старую еловую ветку – ту, что воткнула в снег, где обронила колечко, и начала осторожно отгребать старые листья, пустые шишки, накиданные дятлами, ветки, гнилой мох. Под одним черным листком блеснул огонек. Варюша вскрикнула и присела. Вот оно, сталь-нос колечко! Оно ничуть не заржавело.
Варюша схватила его, надела на средний палец и побежала домой.
Еще издали, подбегая к избе, она увидела деда Кузьму. Он вышел из избы, сидел на завалинке, и синий дым от махорки поднимался над дедом прямо к небу, будто Кузьма просыхал на весеннем солнышке и над ним курился пар.

– Ну вот, – сказал дед, – ты, вертушка, выскочила из избы, позабыла дверь затворить, и продуло всю избу легким воздухом. И сразу болезнь меня отпустила. Сейчас вот покурю, возьму колун, наготовлю дровишек, затопим мы печь и спечем ржаные лепешки.

Варюша засмеялась, погладила деда по косматым серым волосам, сказала:

– Спасибо колечку! Вылечило оно тебя, дед Кузьма.
Весь день Варюша носила колечко на среднем пальце, чтобы накрепко прогнать дедовскую болезнь. Только вечером, укладываясь спать, она сняла колечко со среднего пальца и надела его на безымянный. После этого должна была случиться большущая радость. Но она медлила, не приходила, и Варюша так и уснула, не дождавшись.

Встала она рано, оделась и вышла из избы.
Тихая и теплая заря занималась над землей. На краю неба еще догорали звезды. Варюша пошла к лесу. На опушке она остановилась. Что это звенит в лесу, будто кто-то осторожно шевелит колокольчики?

Варюша нагнулась, прислушалась и всплеснула руками: белые подснежники чуть-чуть качались, кивали заре, и каждый цветок позванивал, будто в нем сидел маленький жук кузька-звонарь и бил лапкой по серебряной паутине. На верхушке сосны ударил дятел – пять раз.

«Пять часов! – подумала Варюша. – Рань-то какая! И тишь!»
Тотчас высоко на ветвях в золотом зоревом свете запела иволга.
Варюша стояла, приоткрыв рот, слушала, улыбалась. Ее обдало сильным, теплым, ласковым ветром, и что-то прошелестело рядом. Закачалась лещина, из ореховых сережек посыпалась желтая пыльца. Кто-то прошел невидимый мимо Варюши, осторожно отводя ветки. Навстречу ему закуковала, закланялась кукушка.
«Кто же это прошел? А я и не разглядела!» – подумала Варюша.
Она не знала, что это весна прошла мимо нее.
Варюша засмеялась громко, на весь лес, и побежала домой. И большущая радость – такая, что не охватишь руками, – зазвенела, запела. У нее на сердце.

Весна разгоралась с каждым днем все ярче, все веселей. Такой свет лился с неба, что глаза у деда Кузьмы стали узкие, как щелки, но все время посмеивались. А потом но лесам, по лугам, по оврагам сразу, будто кто-то брызнул на них волшебной водой, зацвели-запестрели тысячи тысяч цветов.

Варюша думала было надеть перстень на указательный палец, чтобы повидать белый свет со всеми его чудесами, но посмотрела на все эти цветы, на липкие березовые листочки, на яснее небо и жаркое солнце, послушала перекличку петухов, звон воды, пересвистывание птиц над полями – и не надела перстенек на указательный палец.

«Успею, – подумала она. – Нигде на белом свете не может быть так хорошо, как у пас в Моховом. Это же прелесть что такое! Не зря ведь дед Кузьма говорит, что наша земля истинный рай и нету другой такой хорошей земли на белом свете!»

1945

**

***Сусанна Михайловна Георгиевская***

***«Галина мама»***

***Глава первая***

Есть на свете город Куйбышев. Это большой, красивый город. Улицы в нём зелёные, как сады, берега зелёные, как улицы, и дворы зелёные, как берега. Под высоким берегом течёт Волга. По Волге летом ходят пароходы и причаливают то к тому, то к другому берегу. Во время войны в городе Куйбышеве жили девочка Галя, Галина мама и Галина бабушка – их всех троих эвакуировали из Ленинграда. Галина бабушка была ничего себе, хорошая, но мама была ещё лучше. Она была молодая, весёлая и всё понимала. Она так же, как Галя, любила бегать после дождя босиком, и смотреть картинки в старых журналах, и топить печку с открытой дверкой, хотя бабушка говорила, что от этого уходит на улицу всё тепло. Целую неделю Галина мама работала. Она рисовала на прозрачной бумаге очень красивые кружк**и**, большие и маленькие, и проводила разные линеечки – жирные или тоненькие как волосок. Это называлось «чертить».

По воскресеньям Галя и мама ездили на пароходе на другой берег Волги. Волга была большая. Плыли по ней плоты и лодки, шёл пароход, разгоняя в обе стороны длинные волны. А на берегу лежал волнистый мягкий песок, лез из воды упругий остролистый камыш с бархатными щёточками, и летали в тени стрекозы – несли по воздуху свои узкие тельца на плоских, сиявших под солнцем крыльях. Там было так хорошо, как будто совсем нигде нет никакой войны.

Вечером Галя и мама гуляли по набережной.

– Мама, машина! – кричала Галя. – Попроси!..

Галина мама медленно оборачивалась – не сидит ли у калитки бабушка. Если бабушки не было, она поднимала руку. Грузовик останавливался.

– Подвезите нас немножко, пожалуйста, – говорила мама. – Моей девочке так хочется покататься!

Люди на грузовике смеялись. Потом какой-нибудь грузчик или красноармеец, сидящий в кузове, протягивал сверху руку. Грузовик подпрыгивал на ухабах. Мама и Галя сидели в открытом кузове на мешке с картошкой или на запасном колесе, обе в ситцевых платьицах, сшитых бабушкой, и держали друг друга за руки. Галя смеялась. Когда машину подбрасывало, она кричала: «Ой, мама! Ай, мама!» Ей хотелось, чтобы видел весь двор, вся улица, весь город Куйбышев, как они с мамой катаются на машине. Машина тряслась на неровном булыжнике мостовой. Их обдавало пылью.

– Спасибо, товарищи, – говорила мама. Машина вздрагивала и останавливалась.

– Галя, скажи и ты спасибо.

– Спасибо! – кричала Галя, уже стоя на мостовой. Вверху улыбались красноармейцы.

Один раз, когда Галя с мамой гуляли по улицам города Куйбышева, они увидели, как в трамвай, идущий к вокзалу, садились пятеро молодых красноармейцев в полном снаряжении. Должно быть, они уезжали на фронт.

Красноармейцев провожали колхозницы. Колхозницы плакали и целовали своих сыновей и братьев. Вся улица вокруг них как будто притихла. Люди останавливались и молча покачивали головами. Многие женщины тихонько плакали. И вот трамвай дрогнул. Нежно звеня, покатил он по улицам города Куйбышева. За ним побежали колхозницы, что-то крича и махая платками. Галя с мамой стояли на краю тротуара и смотрели им вслед.

– Галя, – вдруг сказала мама, – я не хотела тебе раньше говорить, но, наверно, уже пора сказать: я тоже скоро уйду на фронт.

– Уйдёшь? – спросила Галя, и глаза у неё стали круглые и мокрые. – На фронт? Без меня?

***Глава вторая***

А через два месяца Галя и бабушка провожали маму на фронт. На вокзале толпились люди. Бабушка подошла к пожилому военному и сказала:

– Товарищ военный, дочка моя на фронт едет. Единственная. Молоденькая совсем... Будьте уж столь любезны, если вы едете в этом поезде, не дайте её в обиду.

– Напрасно, мамаша, беспокоитесь, – ответил военный. – Какая тут может быть обида!

– Ну вот и хорошо, – сказала бабушка. – Благодарствуйте.

Стемнело. На вокзале зажглись огни. В их жёлтом свете сиял, как лёд, сырой от дождя перрон. Поезд тронулся. Бабушка побежала за вагоном. Она кричала: «Дочка моя! Доченька моя дорогая!» – и хватала на бегу проводницу за рукав, как будто от неё зависело уберечь здоровье и счастье мамы. А мама стояла в тамбуре за проводницей и говорила:

– Мамочка, не надо. Мамочка, оставь. Мамочка, я ведь не одна, неудобно... Не надо, мамочка!

Поезд ушёл в темноту. Галя и бабушка ещё долго стояли на перроне и смотрели на красный убегающий огонёк. И тут только Галя поняла, что мама уехала, совсем уехала. Без неё. И громко заплакала. Бабушка взяла её за руку и повела домой. Тихо-тихо повела. Бабушка не любила ходить быстро.

***Глава третья***

А мама в это время всё ехала и ехала. В вагоне было почти совсем темно. Только где-то под самым потолком светился, мигая, фонарь. И оттуда вместе со светом шли облака махорочного дыма. Все скамейки были уже заняты. Мама сидела на своём чемоданчике в коридоре вагона, увозившего её на фронт. Она вспоминала, как бабушка бежала за поездом в своём развевающемся платке, вспоминала круглое личико Гали, её растопыренные руки, пальтишко, перехваченное под мышками тёплым вязаным шарфом, и ножки в маленьких тупоносых калошах... И она шептала, как бабушка: «Дочка моя, доченька моя дорогая!..»

Поезд шёл мимо голых деревьев, шумел колёсами и катил вперёд, всё вперёд – на войну.

***Глава четвёртая***

Есть на свете суровый, холодный край, называемый Дальним Севером. Там нет ни лесов, ни полей – есть одна только тундра, вся затянутая ледяной корой. Море, которое омывает этот студёный край, называется Баренцевым. Это холодное море, но в нём проходит тёплое течение Гольфстрим, и от этого море не замерзает. Там стоял во время войны наш Северный флот.

Галина мама получила приказ быть связисткой при штабе флота. Штаб связи помещался в скале – в самой настоящей серой гранитной скале. Матросы вырубили в ней глубокую пещеру. У входа всегда стоял часовой, а в глубине, под тяжёлым сводом, девушки-связистки днём и ночью принимали и передавали шифровки.

«Вот если бы моя Галя увидела, куда я попала! – иногда думала Галина мама. – Какая тут пещера и какие скалы!.. Когда будет можно, я ей про это напишу».

Но шла война, и писать о том, в какой пещере помещается штаб, было нельзя, да Галиной маме и некогда было писать длинные письма. То нужно было стоять на вахте, то дежурить на камбузе – так у флотских называется кухня, – то ехать по заданию начальника в город Мурманск или на полуостров, где держала оборону морская пехота и где шли в то время самые горячие бои.

***Глава пятая***

И вот однажды Галина мама поехала верхом на лошади отвозить важный пакет в боевую охрану Рыбачьего полуострова. Вокруг неё было огромное белое поле, пустое и ровное. Только далеко, там, где небо упирается в землю, стояли неровными зубцами горы. Это был хребет Т**у**нтури. Нигде не росло ни деревца, ни кустарника. Снег и камень лежали на белой равнине. И шёл по равнине колючий ветер и бил в глаза лошадёнке и Галиной маме. И было так пусто кругом! Даже птицы не было видно в синем небе. Лошадь проваливалась в сугробах и уходила в талую воду по самое брюхо. С правой стороны в тундру врезался залив. Берег был однообразный: щебень и галька.

– Ну, ты, пошла, пошла! – понукала Галина мама свою лошадку. И вот они выбрались к самому заливу – лошадь со взмокшим брюхом и мама в разбухших от воды сапогах.

Залив был гладкий, как лист глянцевитой бумаги. Высокое, синее, поднималось над ним небо. От синевы щемило в глазах и в сердце – так чист, так спокоен был небесный купол. И вдруг воздух дрогнул. Откуда-то, со стороны Тунтурей, прилетела мина. С грохотом брызнули в небо камни и снег. Лошадь прижала уши, и мама почувствовала, как она дрожит.

– Ну, старушка родная, гони! – закричала мама и изо всех сил пришпорила лошадь.

Лошадь дёрнулась, кинулась вскачь, хрипя и спотыкаясь. А вокруг них земля дрожала от новых взрывов. Это фашист, который засел на сопках, обстреливал сверху подходы к нашим землянкам, чтобы никто не мог ни подойти, ни подъехать к ним.

Не успела мама отъехать от первой воронки и десяти метров, как что-то словно стукнуло её по плечу. Лошадь всхрапнула, взвилась на дыбы, а потом сразу упала на снег, подогнув передние ноги.

Мама сама не знала, долго ли она пролежала на снегу. Время было весеннее, солнце в тех краях весной и летом не заходит, и она не могла угадать, который теперь час. А часы у неё сломались. Она очнулась не то от боли в плече, не то от холода, не то просто так. Очнулась и увидела, что лежит на взрытом снегу, рядом со своей убитой лошадкой. Маме очень хотелось пить. Она пожевала снегу, потом потихоньку вынула ногу из стремени, поднялась и пошла вперёд. Рукав её куртки совсем взмок от крови. Её тошнило. Но мама не возвратилась в штаб и даже ни разу не обернулась, не подумала, что можно возвратиться. Она шла вперёд, всё вперёд, одна в пустынном и белом поле. А вокруг неё тундра так и гудела от взрывов. Мёрзлые комья взлетали до самого неба и, дробясь на куски, валились вниз.

Мама шла очень долго. Она с трудом переставляла ноги и думала только одно: «Ну ещё десять шагов! Ну ещё пять! Ну ещё три!» Она сама не поверила себе, когда увидела наконец, что беловато-серые зубцы гор совсем близко подступили к ней. Вот уже виден и жёлтый дым наших землянок. Ещё сто раз шагнуть – и она пришла.

– Пришла!.. – сказала мама и упала в снег: ей стало совсем худо.

Минут через сорок бойцы заметили издали на снегу её чёрную шапку-ушанку. Маму подняли и понесли на носилках в санитарную часть. В санчасти на маме разрезали куртку и под курткой нашли пакет, который она принесла из штаба.

***Глава шестая***

В Куйбышеве бабушка и Галя получили письмо – не от мамы, а от начальника госпиталя. Сначала они очень испугались и долго не могли понять, что там написано. Но потом всё-таки поняли, что Галина мама ранена, упала с лошади и чуть не замёрзла в снегу.

– Так я и знала! Так я и знала! – плача, говорила бабушка. – Чуяло моё сердце!

– Моя мама ранена, – рассказывала Галя во дворе. – Мы так и знали!

Соседские девочки, которые отправляли подарки бойцам на фронт, сшили для мамы кисет и вышили: «Смело в бой, отважный танкист!» Они не знали, что Галина мама была связисткой.

Кисет с махоркой девочки отдали Галиной бабушке. Бабушка высыпала махорку и положила в кисет носовые платки, гребешок и зеркальце.

А потом Галя поехала с бабушкой в Москву, где лежала в госпитале мама. Они остановились у родных, в Большом Каретном переулке, и каждый день ездили на троллейбусе номер десять навещать маму. Бабушка кормила маму с ложечки, потому что мамины больные, отмороженные руки ещё не двигались. А Галя стояла рядом и уговаривала её, как маленькую: «Ну, съешь ещё немножечко! Ну, за меня! Ну, за бабушку!..»

***Глава седьмая***

И вот мама почти совсем поправилась. Её выписали из госпиталя и дали ей отпуск на месяц. Она опять научилась быстро ходить и громко смеяться, только руки у неё ещё не гнулись, и бабушка причёсывала её и одевала, как раньше одевала и причёсывала Галю. А Галя возила её через день в госпиталь на электризацию, брала для неё в троллейбусе билет, открывала ей двери, застёгивала на ней шинель. И мама называла её: «Мои руки».

Как-то раз мама получила открытку, на которой красивыми лиловыми буквами было выстукано по-печатному: «Уважаемый товарищ, вам надлежит явиться в наградной отдел такого-то числа, в три часа дня». Открытка была послана несколько дней назад, но пришла с опозданием. Такое-то число было уже сегодня, а до трёх часов оставалось всего полтора часа.

Мама, Галя и бабушка поскорей оделись и поехали в наградной отдел. Они приехали без десяти три. Галя с трудом оттянула тяжёлую дверь, и они с мамой вошли в подъезд. А бабушка не захотела войти.

– Я лучше здесь подожду, – сказала она. – Уж очень я волнуюсь.

У вешалки с мамы сняли шинель, а Галя сама сняла свой тулупчик. И тут всем стало видно, что под шинелью у мамы – красивая, парадная форма офицера Военно-Морского Флота, а под тулупчиком у Гали – матросская блуза, перешитая бабушкой из маминой краснофлотской фланелевки.

– Глядите-ка! Два моряка! – сказала гардеробщица.

Они поднялись по широкой лестнице. Впереди шла мама, осторожно неся свои руки в перевязках, а сзади – Галя. За дверью сказали: «Прошу!» – и они вошли.

У стола сидел человек. Перед ним лежала белая коробочка. Всё сияло на человеке: золотые погоны, два ряда пуговиц, золотые нашивки на рукавах и много орденов. Галя и мама остановились у дверей. Галя посмотрела на маму. Мама была так красиво причёсана! Над воротом синего кителя виднелся край крахмального воротничка. Из бокового кармана торчал платочек. А в кармане юбки – Галя это знала – лежал подарок куйбышевских ребят: кисет с надписью «Смело в бой, отважный танкист!». Как жалко, что кисета не было видно!

Мама стояла навытяжку. Рядом в матросской куртке стояла навытяжку Галя. Человек покашлял и взял коробочку. Он сказал:

– За ваши заслуги в борьбе с захватчиками... – и протянул коробочку.

Но мамины руки лежали в чёрных перевязках. Они были в рубцах и лилово-красных пятнах, похожих на ожоги. Они защищали Родину, эти руки. На них остался багровый след её холодов и вражеского огня. И человек, стоявший против мамы, на минуту задумался. Потом он шагнул вперёд, подошёл прямо к Гале и отдал коробочку ей.

– Возьми, девочка, – сказал он. – Ты можешь гордиться своей мамой.

– А я и горжусь! – ответила Галя.

Но тут мама вдруг отчеканила по-военному:

– Служу Советскому Союзу!

И они обе – мама и Галя – пошли к двери. Впереди шла Галя с коробочкой, сзади – мама с руками в перевязках. Внизу, в подъезде, Галя открыла коробочку. Там был орден Отечественной войны – единственный орден, который передаётся по наследству детям.

У входа их поджидала бабушка. Она увидела мамин орден и громко заплакала. Все прохожие стали на них оглядываться, и мама сказала бабушке:

– Мамочка, не надо! Перестань, мамочка! Я ведь не одна. Таких много... Ну, не плачь, право же неудобно!..

Но тут какая-то пожилая женщина, проходившая мимо, заступилась за бабушку.

– Отчего же! – сказала женщина. – Конечно, матери очень лестно. И не захочешь, да заплачешь!

Но Галиной бабушке так и не удалось поплакать вволю на улице. Галя тянула её за рукав. Она торопилась домой, в Большой Каретный. Ей хотелось скорее-скорее рассказать во дворе всем ребятам, как и за что они получили орден.

А так как я тоже живу в Большом Каретном, в том самом доме, в том самом дворе, то и я услышала всю эту историю и записала её слово в слово от начала до конца – по порядку.

**"Арбузный переулок" Виктор Драгунский**

*Рассказ для детей*

Я пришел со двора после футбола усталый и грязный как не знаю кто. Мне было весело, потому что мы выиграли у дома номер пять со счетом 44:37. В ванной, слава богу, никого не было. Я быстро сполоснул руки, побежал в комнату и сел за стол. Я сказал:

- Я, мама, сейчас быка съесть могу.

Она улыбнулась.

- Живого быка? - сказала она.

- Ага, - сказал я, - живого, с копытами и ноздрями!

Мама сейчас же вышла и через секунду вернулась с тарелкой в руках. Тарелка так славно дымилась, и я сразу догадался, что в ней рассольник. Мама поставила тарелку передо мной.

- Ешь! - сказала мама.

Но это была лапша. Молочная. Вся в пенках. Это почти то же самое, что манная каша. В каше обязательно комки, а в лапше обязательно пенки. Я просто умираю, как только вижу пенки, не то чтобы есть. Я сказал:

- Я не буду лапшу!

Мама сказала:

- Безо всяких разговоров!

- Там пенки!

Мама сказала:

- Ты меня вгонишь в гроб! Какие пенки? Ты на кого похож? Ты вылитый Кощей!

Я сказал:

- Лучше убей меня!

Но мама вся прямо покраснела и хлопнула ладонью по столу:

- Это ты меня убиваешь!

И тут вошел папа. Он посмотрел на нас и спросил:

- О чем тут диспут? О чем такой жаркий спор?

Мама сказала:

- Полюбуйся! Не хочет есть. Парню скоро одиннадцать лет, а он, как девочка, капризничает.

Мне скоро девять. Но мама всегда говорит, что мне скоро одиннадцать. Когда мне было восемь лет, она говорила, что мне скоро десять. Папа сказал:

- А почему не хочет? Что, суп пригорел или пересолен?

Я сказал:

- Это лапша, а в ней пенки...

Папа покачал головой:

- Ах вот оно что! Его высокоблагородие фон барон Кутькин-Путькин не хочет есть молочную лапшу! Ему, наверно, надо подать марципаны на серебряном подносе! Я засмеялся, потому что я люблю, когда папа шутит.

- Это что такое - марципаны?

- Я не знаю, - сказал папа, - наверно, что-нибудь сладенькое и пахнет одеколоном. Специально для фон барона Кутькина-Путькина!.. А ну давай ешь лапшу!

- Да ведь пенки же!

- Заелся ты, братец, вот что! - сказал папа и обернулся к маме. - Возьми у него лапшу, - сказал он, - а то мне просто противно! Кашу он не хочет, лапшу он не может!.. Капризы какие! Терпеть не могу!..

Он сел на стул и стал смотреть на меня. Лицо у него было такое, как будто я ему чужой. Он ничего не говорил, а только вот так смотрел - по-чужому. И я сразу перестал улыбаться - я понял, что шутки уже кончились. А папа долго так молчал, и мы все так молчали, а потом он сказал, и как будто не мне и не маме, а так кому-то, кто его друг:
- Нет, я, наверно, никогда не забуду эту ужасную осень, - сказал папа, - как невесело, неуютно тогда было в Москве... Война, фашисты рвутся к городу. Холодно, голодно, взрослые все ходят нахмуренные, радио слушают ежечасно... Ну, все понятно, не правда ли? Мне тогда лет одиннадцать-двенадцать было, и, главное, я тогда очень быстро рос, тянулся кверху, и мне все время ужасно есть хотелось. Мне совершенно не хватало еды. Я всегда просил хлеба у родителей, но у них не было лишнего, и они мне отдавали свой, а мне и этого не хватало. И я ложился спать голодный, и во сне я видел хлеб. Да что... У всех так было. История известная. Писано-переписано, читано-перечитано...

И вот однажды иду я по маленькому переулку, недалеко от нашего дома, и вдруг вижу - стоит здоровенный грузовик, доверху заваленный арбузами. Я даже не знаю, как они в Москву попали. Какие-то заблудшие арбузы. Наверно, их привезли, чтобы по карточкам выдавать. И наверху в машине стоит дядька, худой такой, небритый и беззубый, что ли, - рот у него очень втянулся. И вот он берет арбуз и кидает его своему товарищу, а тот - продавщице в белом, а та - еще кому-то четвертому... И у них это ловко так цепочкой получается: арбуз катится по конвейеру от машины до магазина. А если со стороны посмотреть - играют люди в зелено-полосатые мячики, и это очень интересная игра. Я долго так стоял и на них смотрел, и дядька, который очень худой, тоже на меня смотрел и все улыбался мне своим беззубым ртом, славный человек. Но потом я устал стоять и уже хотел было идти домой, как вдруг кто-то в их цепочке ошибся, загляделся, что ли, или просто промахнулся, и пожалуйте - тррах!.. Тяжеленный арбузище вдруг упал на мостовую. Прямо рядом со мной. Он треснул как-то криво, вкось, и была видна белоснежная тонкая корка, а за нею такая багровая, красная мякоть с сахарными прожилками и косо поставленными косточками, как будто лукавые глазки арбуза смотрели на меня и улыбались из середки. И вот тут, когда я увидел эту чудесную мякоть и брызги арбузного сока и когда я почуял этот запах, такой свежий и сильный, только тут я понял, как мне хочется есть. Но я отвернулся и пошел домой. И не успел я отойти, вдруг слышу - зовут:

"Мальчик, мальчик!" Я оглянулся, а ко мне бежит этот мой рабочий, который беззубый, и у него в руках разбитый арбуз. Он говорит:

"На-ка, милый, арбуз-то, тащи, дома поешь!" И я не успел оглянуться, а он уже сунул мне арбуз и бежит на свое место, дальше разгружать. И я обнял арбуз и еле доволок его до дому, и позвал своего дружка Вальку, и мы с ним оба слопали этот громадный арбуз. Ах, что это была за вкуснота! Передать нельзя! Мы с Валькой отрезали большущие кусищи, во всю ширину арбуза, и когда кусали, то края арбузных ломтей задевали нас за уши, и уши у нас были мокрые, и с них капал розовый арбузный сок. И животы у нас с Валькой надулись и тоже стали похожи на арбузы. Если по такому животу щелкнуть пальцем, звон пойдет знаешь какой! Как от барабана. И об одном только мы жалели, что у нас нет хлеба, а то бы мы еще лучше наелись. Да...

Папа отвернулся и стал смотреть в окно.
- А потом еще хуже - завернула осень, - сказал он, - стало совсем холодно, с неба сыпал зимний, сухой и меленький снег, и его тут же сдувало сухим и острым ветром. И еды у l5;ас стало совсем мало, и фашисты все шли и шли к Москве, и я все время был голодный. И теперь мне снился не только хлеб. Мне еще снились и арбузы. И однажды утром я увидел, что у меня совсем уже нет живота, он просто как будто прилип к позвоночнику, и я прямо уже ни о чем не мог думать, кроме еды. И я позвал Вальку и сказал ему:
"Пойдем, Валька, сходим в тот арбузный переулок, может быть, там опять арбузы разгружают, и, может быть, опять один упадет, и, может быть, нам его опять подарят".
И мы закутались с ним в какие-то бабушкины платки, потому что холодюга был страшный, и пошли в арбузный переулок. На улице был серый день, людей было мало, и в Москве тихо было, не то что сейчас. В арбузном переулке и вовсе никого не было, и мы стали против магазинных дверей и ждем, когда же придет грузовик с арбузами. И уже стало совсем темнеть, а он все не приезжал. Я сказал:

"Наверно, завтра приедет..."

"Да, - сказал Валька, - наверно, завтра".

И мы поили с ним домой. А назавтра снова пошли в переулок, и снова напрасно. И мы каждый день так ходили и ждали, но грузовик не приехал...
Папа замолчал. Он смотрел в окно, и глаза у него были такие, как будто он видит что-то такое, чего ни я, ни мама не видим. Мама подошла к нему, но папа сразу встал и вышел из комнаты. Мама пошла за ним. А я остался один. Я сидел и тоже смотрел в окно, куда смотрел папа, и мне показалось, что я прямо вот вижу папу и его товарища, как они дрогнут и ждут. Ветер по ним бьет, и снег тоже, а они дрогнут и ждут, и ждут, и ждут... И мне от этого просто жутко сделалось, и я прямо вцепился в свою тарелку и быстро, ложка за ложкой, выхлебал ее всю, и наклонил потом к себе, и выпил остатки, и хлебом обтер донышко, и ложку облизал.

Валентина Александровна Осеева

**Андрейка**

Андрейке двенадцать лет. Он такой важный в своем рабочем костюме ремесленника. В его черных глазах горячая готовность на любые дела, на любой подвиг. Но таким Андрейка сделался не сразу. Над Андрейкой прошла война, и это большое событие в его маленькой жизни сделало его взрослее. Когда мальчику было семь лет, все рассказы о войне казались ему далекими и страшными сказками, а жизнь была веселая. С утра убегал Андрейка с соседскими ребятишками на речку, купался и валялся в горячем песке на берегу и только тогда возвращался домой, когда раздавался звучный голос старшего брата Антона:

- Ау! Андрейка!

Встряхивая мокрой головой, он мчался на зов. Он радовался, что мать и брат уже дома, что на столе стоит миска горячего картофеля с мясом, что скоро наступят теплые летние сумерки. Мать сядет на крылечко, Андрейка примостится сбоку, а Антон приляжет на траву и будет рассказывать о своих товарищах, о работе, о новых заводских машинах и о своем станке, который он называл "сердечным другом". Андрейка видел этот станок. Как-то раз Антон взял с собой братишку на завод и показал ему свой цех. На заводе Андрейке все понравилось: и блестящий станок Антона, и широкие светлые окна цеха, и взрослые рабочие, которые спрашивали у Антона совета и слушались его. А с Андрейкой шутили, приглашая его вместе работать. Андрейка смущался, а Антон серьезно отвечал:

- Шутки шутками, а лет через пяток будет он мне помощником!
В это воскресенье Антон с утра взялся за починку забора. Он принес из сарая целую охапку досок и начал их обстругивать. Андрейка стоял и смотрел, как из-под рубанка желтыми завитушками падают на траву стружки и доска делается гладкой, новой, светлой.
"Эк ему все удается!" - думает Андрейка, с завистью поглядывая на брата. А брат, посвистывая, ловко перебрасывал с руки на руку дощечку, крепко упирал ее одним концом в станок и легко проводил по ней рубанком, отбрасывал стружки. Один раз он дал братишке рубанок. Андрейка покраснел от удовольствия и, чтобы не осрамиться перед братом, изо всех своих силенок врезал рубанок в доску.

- Заехал сгоряча, - спокойно сказал Антон. - Полегонечку надо - это не дрова рубить!
Андрейка попробовал еще. Стружка у него завилась тоненькая, как мышиный хвостик.

- Не могу, - сказал он со вздохом.

- Пробуй, пробуй! - закричал Антон. - "Не могу" - такого слова нет, такого слова даже грудной ребенок не скажет!

- А какое слово грудной ребенок скажет? - спросила мать.
Андрейка хмыкнул от удовольствия и лукаво посмотрел на брата.

- Какое слово? - переспросил Антон, поглаживая рукой доску.

- Очень простое: "Агу. Вырасту - смогу".

Мать засмеялась. Вдруг калитка громко хлопнула.
По дорожке бежали товарищи Антона - Сергей и Борис. За ними, прихрамывая, торопился сын соседа Алексей. Все трое, размахивая руками, кричали:

- Включи радио, Антон!

Антон бросил на станок рубанок и побежал на террасу. Мать поспешно вытерла мокрые руки, поправила платок и присела на кончик стула. Андрейка первый вскарабкался на табуретку и включил радио.

"Граждане и гражданки Советского Союза...". Андрейка затаил дыхание и переводил глаза с брата на мать, с матери на товарищей Антона. Все слушали молча, не шевелясь. Но на всех лицах Андрейка вдруг увидел какое-то одинаково суровое, незнакомое ему выражение. Антон стоял, выпрямившись, как будто принимал боевой приказ.

\* \* \*

Через два дня Антон уехал. Вечером перед отъездом он долго сидел с матерью на крылечке. Андрейка боком жался к нему. Брат тихонько гладил кудрявый чубик Андрейкиных волос и говорил:

- Было у матери два сына. Один с врагами дрался, а другой дома работал...

- Андрейка? - спрашивал братишка.

- Он, - серьезно отвечал Антон. - Бывало, ляжет спать пораньше, наберется за ночь сил, подрастет маленько, а утром вскочит, щепок наколет, воды принесет, в лавку сбегает, чай сварит...

Не шутил Антон. И у матери лицо было спокойное, строгое. Андрейка тихонько заложил четыре пальца и пересчитал:

- Щепок наколет, воды принесет, в лавку сбегает, чай сварит...

- ...и всякие дела за Антона справит, - досказал старший брат.
Андрейка заложил пятый палец.

- Справлю, - деловито сказал он.

\* \* \*

И правда, на другой день Андрейка поднялся рано. В кухне стояли пустые ведра. Пока мать придет с работы, нужно все дела переделать. Как, бывало, Антон. У того все быстро. Он большие ведра с водой сразу по два приносил. Андрейке так не осилить: он берет в кухне большой чайник. Можно несколько раз сходить. И Андрейка ходит. Он несет чайник в оттопыренной руке, чтобы вода не проливалась на голые коленки, потом перекладывает его в другую руку, потом тащит обеими руками, крепко прижимая к животу. Живот у него весь мокрый, трусики прилипли к телу. Но ведра наполняются. Андрейка идет в сарай. Посвистывая, как Антон, он размахивает маленьким топориком. Сухие щепки колются легко. Андрейка собирает их в кучу и задумывается. Потом, отложив два пальца на руке, вспоминает: в лавку за хлебом надо сходить! На заборе, свесившись вниз головами, ребята давно кричат Андрейке:

- Пошли на речку купаться!

- Не... - мотает головой Андрейка, - я после...

- Да пойдем: вода сейчас теплая, горячая...

- "Пойдем, пойдем"! - передразнивает их Андрейка. - Вам бы только бегать без толку! Антон на фронте... Кто матери помогать будет?

- А у меня отец пошел, одна бабка дома, - озабоченно говорит Генька. Он потихоньку отходит от забора и кричит Андрейке: - Слышь! Не уходи без меня! Я сейчас!

\* \* \*

Ребята давно ушли. Андрейка сидит на крылечке и ждет товарища. "Видно, дело нашлось... - думает он. - Бабка у них старая, еще старее нашей матери".
Но стриженая голова Геньки уже торчит из кустов.

- Пошли!

Они пошли вдоль Андрейкиного забора, и вдруг Андрейка остановился он увидел большую дыру. Это Антон не успел прибить новые доски. Они лежат на траве, чисто выструганные. И гвозди в коробке стоят под станком.

- Кто же вам теперь забьет-то? - спрашивает Генька.
Андрейка молча перелезает через забор и бежит в дом. Генька со вздохом присаживается на траву. Андрейка возвращается с молотком и поднимает с земли тонкую дощечку.

- Держи, чтоб ровно было! Можешь? - спрашивает он товарища.

- Могу! - говорит Генька, деловито примеривая доску.

- Держи, а я буду гвозди вбивать.

Генька долго прилаживает доску. Гвозди выскакивают из рук Андрейки, и молоток часто бьет невпопад. Но Генька терпеливо ждет, изо всех сил налегая на доску.

- Эх, вода хорошая сейчас! Слышь, ребята плещутся? - говорит он, поглядывая на солнце.

- Выкупаться успеем, - отвечает Андрейка. - А вот если у матери два сына и один воюет, так другой дома должен работать!

Под вечер Андрейка стоит на зеленом пригорке. Мокрые волосы его блестят. Прикрыв ладонью глаза, он смотрит на дорогу и, завидев мать, окликает ее:

- Ау, мама!

И кажется Андрейке, что голос у него стал совсем как у Антона, а сам он такой же крепкий, сильный и высокий, как старший брат, и от этого на маленьком подвижном лице его впервые появляется выражение готовности к подвигу.

\* \* \*

Андрейка стоит посреди комнаты и таращит в темноту сонные глаза. Мать молча сует ему какой-то узелок, торопливо гладит по голове и, крепко схватив за руку, тащит в темные сени. Над домом что-то тяжело ухает; посуда жалобно звенит на полках; тянущий за душу вой, прерываемый диким кошачьим мяуканьем, несется из темноты. Андрейке страшно. Он цепляется за дверь.

- Не бойся... Не бойся... В убежище пойдем. Там все люди сейчас, там и Генечка с бабушкой...

Мелкий озноб охватывает Андрейку во дворе. Мать обнимает его одной рукой, и они бегут по темной улице, так крепко прижавшись друг к другу, что босые ноги Андрейки, наскоро обутые в башмаки, попадают под ноги матери. Страшное незнакомое небо разверзается над их головами: крест-накрест перетянутое широкими белыми лентами, оно все время двигается и в глубине его то далеко, то совсем близко слышно грозное гудение моторов... Иногда тонкие зажженные свечи низко свисают над землей, и вслед за ними в ушах у Андрейки что-то с грохотом лопается. Он цепляется за колени матери, и они оба падают на землю...

- Ничего, сынок... Ничего, миленький... Это Антон фашистов бьет.
Андрейка чувствует, как у матери дрожат руки, но имя Антона сразу воскрешает перед ним высокую, крепкую фигуру брата: на его широких плечах зеленая гимнастерка, а в руке настоящая винтовка...

- Антон фашистов бьет! - растерянным шепотом повторяет он.
Гордость и восторг охватывают его, и теперь он сам бежит вперед, чтобы скорей поделиться этой новостью с Генькой... И в темноте сквозь грохот рвущихся снарядов, пригнувшись к земле, мать слышит его дрожащий голос:

- Ничего, ничего, мама... Это Антон фашистов бьет...

"Бомбоубежище" - новое слово для Андрейки. Но они с Генькой помогали взрослым носить кирпичи и выбрасывать землю из огромной ямы. В местечке, где живет Андрейка, нет настоящих бомбоубежищ, а то бомбоубежище, которое наскоро рыли старики, женщины и дети, похоже на большую пещеру, узкую и длинную, с земляными сиденьями по бокам. Андрейка с матерью медленно спускаются по земляной лесенке вниз и с трудом пробираются в узком проходе между сиденьями. В черной тьме Андрейка чувствует только много чьих-то ног, крепко сдвинутых коленей, слышит отрывистое дыхание и тяжелые вздохи женщин. В глубине плачет грудной ребенок, и чей-то голос все время повторяет громким шепотом:

- Тише, граждане, тише! Спокойно, спокойно...

Андрейка хочет окликнуть Геньку. Но удар за ударом сотрясают землю; кто-то из ребят начинает громко плакать; какая-то женщина протискивается к выходу, ее не пускают. И снова страшный удар...

- Не допусти господи... - шепчет чей-то старушечий голос. И в ответ на него из темноты кто-то насмешливо цедит сквозь зубы:

- Уже допустил твой господь.

Андрейка, затиснутый в угол, туго сжатый с обеих сторон людскими телами, чувствует рядом мать. Она стоит, наклонившись над ним всем телом, и, услышав низкое гуденье самолета, закрывает его собой. В полной тьме, как под черным большим платком, сбились в кучу перепуганные дети, старики и женщины. Непонятный тяжелый страх сковывает Андрейку, но он не может удержать в себе свою торжествующую новость:

- Мама, скажи им: это Антон, это наши бьют фашистов!

\* \* \*

Андрейка никогда не забудет, как прибежал к ним Генька и, широко распахнув дверь, закричал с порога: "Отца моего убили!"; как он сел на край лавки и без слез, с ужасом и удивлением на все вопросы отвечал одним словом: "Убили... Убили!"; как утешали соседи его бабку и плакали вместе с ней.

А жизнь шла своим чередом... На завод, где работал Антон, день и ночь шли люди. Одни сменяли других для короткого отдыха. Женщины, старики и подростки заменили ушедших на фронт. Вместе со всеми работала и мать Андрейки. Соскучившись, мальчик пробирался в заводской двор и заглядывал в светлые окна цеха, где раньше работал Антон. Через стекло был виден "сердечный друг" - блестящий станок Антона. Только теперь за ним стоял Андрейкин сосед, старый мастер цеха, Матвеич. На нос его низко спускались очки. Андрейка со вздохом отворачивался от окна и представлял себе брата в рабочем комбинезоне, с синими смеющимися глазами. А мимо Андрейки сновали люди, грузили на машины какие-то ящики, что-то вносили и выносили, на ходу завтракали. Все торопились выполнять какие-то приказы, идущие из кабинета главного инженера. Этого инженера Андрейка видел только один раз, когда они с Генькой сидели около заводских ворот. Инженер был высокий, в серой шинели, с черным портфелем под мышкой. Проходя мимо, он бегло взглянул на ребят и крикнул:

- Зачем здесь?

Ребята опрометью бросились бежать.

- Ого! - только сказал Генька.

Но Андрейка, благодарный главному инженеру за то, что он заботится обо всем заводе, за то, что любимый станок Антона по-прежнему блестит в руках старого мастера, ответил Геньке коротко и ясно:

- Прогнал - значит, надо.

\* \* \*

Никто не отрывался от своих дел. Напротив, все люди работали с упорством и ожесточением. Дела прибавилось у всех. Прибавилось и у Андрейки. Почти все свое время мать проводила на заводе. Андрейка старательно прибирал комнату, стоял в очереди за хлебом и варил супы. В супы он крошил все, что имелось в хозяйстве, - они выходили густые и клейкие, но когда мать забегала домой поесть, она покрывала стол чистой скатертью и, разлив по тарелкам Андрейкин суп, говорила:

- Ишь ты! Вкуснота какая! Не суп, а кисель! Ложка стоит!
И Андрейка, чтобы угодить ей, старался вовсю. Размешивал в кружке муку с водой, делал густую заправку и удивлялся, что когда мать сама варит суп, то у нее он получается светлый и жидкий.

В бомбоубежище ходили теперь только старики и дети. Андрейка и Генька решительно отказались сидеть во время воздушной тревоги под землей. У ребят были свои важные дела, которые они выполняли с отчаянным усердием: они тушили зажигательные бомбы. Все мальчики в поселке были заняты этим делом. Они хватали бомбы тряпками, рукавицами и бросали их в воду или засыпали песком. Пожаров не было. Один раз Андрейке и Геньке удалось словить "живую" бомбу. Растопырив руки в старых брезентовых рукавицах, они схватили ее и с торжеством швырнули в кадку с водой. Андрейка, красный от натуги, со злыми блестящими глазами, сорвал рукавицу и, подняв кулак, показал немецкому самолету кукиш:

- Вот тебе твои бомбы, видал?!

Тяжелые годы пронеслись над Андрейкой. Не раз стоял он над своим супом, придумывая, что еще можно положить в кастрюлю для густоты. Не раз делили они с матерью последний кусок хлеба и, не раздеваясь, ложились в холодную постель. Не раз сжималось сердце мальчика, когда он смотрел на осунувшуюся и постаревшую мать. Антон писал редко, и чем старше становился Андрейка, тем больше понимал, какие страшные опасности окружают его брата. Андрейка вытянулся и похудел. Но только один раз плакал он горькими мальчишескими слезами.

В тот день мать пришла рано. Старые бутсы на ее ногах отяжелели от приставшей к ним глины. Андрейка вытащил ее башмаки на двор и стал на крыльце обмывать их в светлой луже. Мать отказалась от еды и легла. Заунывный звук сирены заставил Андрейку поднять голову... И в тот же момент страшный удар потряс землю, у Андрейки зазвенело в ушах. Он покачнулся и упал...

А потом, как и в первую ночь бомбежки, они с матерью, спотыкаясь, бежали к заводу. Туда бежали все с лопатами, кирками, не обращая внимания на продолжающуюся бомбежку. На бегу мать останавливалась и считала заводские трубы. Они были целы. А между тем все уже знали, что бомба упала на завод.

- Правое крыло, видать... - задыхаясь, проговорила обогнавшая их соседка.

- Антонов цех! - крикнул кто-то из ребят.
Андрейка пулей влетел в заводские ворота. И там, где в широкие светлые окна был виден блестящий станок Антона, лежала груда кирпичей и обломки железа. Не то пыль, не то дымок с каким-то едким запахом шел от этих развалин.
Андрейка громко, жалобно заплакал:

- Не уберегли... Не оборонили...

Казалось ему, что он сам тоже виноват в том, что не уберег завод, и что, вернувшись, Антон спросит его с укором:

- А где же станок мой, Андрейка?

И Андрейка бегал вокруг, громко плача и вытирая кулаком слезы. Черные от копоти Люди толпились около развалин, звенели лопаты, с темных рабочих лиц каплями бежал пот...

А Андрейка, злой, как волчонок, сжимая кулаки, грозился в тяжелое, нависшее над его головой небо, покрытое вражескими самолетами. И как бы в ответ на его детские слезы один из фашистских самолетов вдруг вспыхнул ярким белым пламенем...